

Дмитрий Савицкий

Праздник, который...

фрагменты ненаписанных мемуаров

ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ

Со дня смерти Дмитрия Савицкого прошло уже полтора года.

Во времена, когда российская литература была принудительно разделена на две неравные части, условно именовавшиеся «советской» и «антисоветской», писателя с таким именем никто из обитателей «самой читающей страны в мире» не знал. Знали — и то очень и очень немногие — такого журналиста, чей голос звучал на самых коротких в мире волнах, прорываясь к слушателям голосов сквозь «гэбистский джаз» — как на тогдашнем жаргоне именовались направленные помехи с целью глушения передач иностранных радиостанций. В середине 1980-х Дмитрий Савицкий сотрудничал как внештатный корреспондент с русскими службами Би-Би-Си и Международного французского радио (RFI). Выступая в их передачах, он рассказывал слушателям по эту сторону «железного занавеса» о том, как на самом деле живут обитатели Парижа — чтобы у тех была возможность сравнивать услышанное с враньем, которым их пичкали товарищи Зорин, Дунаев, Фесуненко и незабвенный Фарид Мустафьевич Сейфуль-Мулюков из телепрограмм вроде «Сегодня в мире» и «Международная панорама».

Во Францию Дмитрий Савицкий попал в 1978 году. Тридцатичетырехлетнему москвичу с асоциальной (по тогдашним советским понятиям) биографией немаловажно повезло — он вытянул у Судьбы выигрышный лотерейный билет. Приз был покрупнее миллиона «деревянных» рублей, не говоря уже об автомобиле «Волга» — перед счастливичиком распахнулись ржавые ворота с укрепленной над ними вывеской «СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК» и он получил возможность выйти из лагеря победившего здравый смысл социализма. Выйти навсегда.

Лотерейный билет этот не был виртуальным — у него были имя и фамилия. Звали его (то есть ее) Ольга Потемкина. Была она француженкой и в то же время этнической русской, происходя из семьи представителей первой (иначе — «белогвардейской») волны российской эмиграции. Романтическая и одновременно драматическая история их взаимоотношений, завершившаяся сначала быстрой свадьбой, а затем столь же скорым разводом, частично описана Дмитрием Савицким в его первом романе «Ниоткуда с любовью», где Ольга выведена в образе Лидии; кроме того, книга ей же и посвящена. В промежутке между первым и вторым и случилась выездная виза с указанием «частная поездка сроком на два месяца», благодаря которой Савицкому удалось покинуть пределы «кумачового рая, оплетенного колючей проволокой» — как он имел обыкновение характеризовать брежневский Советский Союз, в котором чувствовал себя абсолютно лишним человеком. Виза, по утверждению Савицкого, была получена блатным путем: еще одна его знакомая француженка, на сей раз полностью натуральная, состояла в близких отношениях с неким именитым советским кинорежиссером и, пользуясь этим статусом, была вхожа в различные «высокие московские

кабинеты». Она-то, Мадлен¹, и помогла «внутреннему эмигранту» стать эмигрантом настоящим, замолвив за него словечко генералу Зотову — могущественному начальнику столичного ОВИРа, известному всей «выездной» Москве взятчику и мздоимцу.

В Париж Дмитрий прилетел 14 июля — в День взятия Бастилии, главный национальный праздник Французской Республики. Это не было подстроено — так получилось. Однако Савицкий всегда гордился этим фактом своей биографии, считая его символическим. Более того, он завел обычай ежегодно в день своего персонального взятия Парижа делать автопортрет — и рассылал эти фотографии своим друзьям во все уголки земного шара, где они у него имелись, «от Воркуты до Кейптауна и от Питера до Сан-Франциско», как он определял этот ареал. Последняя из этих фотографий датирована 14 июля 2018 года. На нее невозможно смотреть без слез.

Оказавшись в Париже, уже через два месяца Савицкий, бегло говорящий по-английски, но в ту пору еще совершенно беспомощный во французском, получил работу в местной прессе. Его первым работодателем стала редакция музыкального журнала «Le Monde de la Musique» («Мир музыки»), с которым он затем сотрудничал более пяти лет. Вскоре он начал публиковаться также в газете «Liberation» («Освобождение»). О том, насколько успешным было это сотрудничество, свидетельствует такой факт. На редакционных планерках тогдашний главный редактор газеты Серж Жюли выговаривал своим журналистам: «Приехал никому не известный русский — и пишет так, как должны писать вы. Но вы так не пишете, потому что не умеете. А он — умеет, хотя двух слов по-французски связать не может. Но я чувствую этот драйв, читая его в переводе. Как же, разрази его, он должен писать на своем родном, хотелось бы мне знать...» Само собой разумеется, подобные аттестации от шефа не могли добавить Савицкому любви и нежности от коллег по работе. Впрочем, его это мало волновало. Он никогда не числился в штате — ни в «Либэ», как именуют газету «Либерасьон» на париго², ни в каком-либо ином парижском издании. А таковых в его журналистской биографии за одиннадцать лет работы во французской печати было много: «Lui», «Rock & Folk», «L'Autre Journal», «Lettre Internationale», «Echo des Savanes», «Le Monde Dimanche», «Magazine Litteraire», «Rolling Stone»...

Однако в 1989 году Савицкий оставил французскую прессу. Как оказалось, навсегда. Причиной такого решения было то, что из журналиста газетно-журнального французского он решил стать журналистом радиийным и русским. И не только репортером, но и ведущим — собственной музыкальной программы, посвященной обожаемому им до абсолютного поклонения джазу. Предложение сделать такую передачу Савицкий получил от тогдашнего руководства Русской службы американской радиостанции «Свобода», с которой периодически сотрудничал с начала 1980-х годов. Передачи «Свободы» в Советском Союзе глушились непрерывно с первого дня начала их трансляции в 1953 году и вплоть до 30 ноября 1988 года, когда глушение было прекращено ввиду его полнейшей неэффективности. Получив «чистый эфир», свободовское начальство смогло выделить в нем место и для музыкальных передач, которых у этой радиостанции прежде не было. Разумеется, это было сделано для привлечения дополнительной аудитории, хотя

1 Имя изменено по этическим соображениям.

2 Париго — «парижское наречие французского языка»; специфический язык коренных жителей Парижа, отличающийся стремлением к максимально возможному сокращению и использованию в обиходном общении жаргона, в том числе узкопрофессионального.

в решении о запуске джазовой программы существенную роль сыграло и изображение о необходимости запастись козырем против коммунистической пропаганды, обвинявшей «Свободу» в том, что она передает одну только «оголтелую антисоветчину» и больше ничего.

В передаче Дмитрия Савицкого политики было — ноль целых и ноль десятых, а музыки и рассказов о тех, кто ее делает, — под завязку. Впервые выйдя в эфир 12 марта 1989 года под названием «Take Five», джазовая программа Савицкого транслировалась на волнах «Свободы» в течение почти 28 лет. За эти годы она несколько раз меняла название и хронометраж³, однажды — в апреле 2004 года — была ликвидирована тогдашним бездарным руководством Русской службы под предлогом «переформатирования эфирной сетки вещания», затем, спустя пять лет, восстановлена в прежнем объеме, но под новым названием — «Время джаза». Последний выпуск этой программы вышел в эфир 24 декабря 2016 года; в то время 72-летний Дмитрий Савицкий уже более полугода путешествовал по парижским госпиталям, проходя мучительную терапию против быстро развивающегося рака лимфатической системы.

Свою работу на радио Савицкий рассматривал не только как возможность получать деньги, необходимые для «поддержания штанов» и оплаты крыши над головой (собственного жилья в Париже у него никогда не было, он всегда был квартиронанимателем), но также и как подтверждение максимы обожаемого им канадского культуролога Маршалла Маклюэна, утверждавшего, что будущее человечества принадлежит не автократиям и не демократиям, но — медиакратиям. То есть тирании средств массовой информации, они же средства тотальной пропаганды. Впрочем, говорил Савицкий об этом всегда в тоне сугубо ироническом, самого себя при этом именуя им же придуманным ерническим словосочетанием «Slave of Liberty» («Раб Свободы») — подразумевая то, что является на одноименной радиостанции фрилансером, то есть внештатником, не получающим стабильной зарплаты.

* * *

Самым важным в жизни Дмитрия Савицкого было все же писательство. До выезда из СССР он был известен в узких кругах так называемого московского литературного андеграунда. В этой весьма специфической среде — немногочисленной, выморочной, подобной тонкой пленке чайного гриба, живущего в утвержденной на кухонном подоконнике трехлитровой банке, состоящей сплошь из «непризнанных гениев» — от Губанова, Батшева, Холина, Сапгира или того же Савенко (Лимонова) до откровенных графоманов типа какого-нибудь Епишкина, — Савицкий ничем на общем фоне не выделялся. Он сочинял стихи — хорошие и разные, с рифмами и без, которые распространялись посредством самиздата, — и это все, чем он был в той среде известен.

До того, как попасть в эту полуреальную-полупризрачную среду, Савицкий пытался стать официозным литератором. В 1967 году, вернувшись в Москву после трехлетнего кошмара армейской службы (служил он во Внутренних войсках, но не охранником в уголовном лагере, как Сергей Довлатов, а в гораздо более страшном месте — на подземном термоядерном реакторе в секретном городе Томск-7, ныне известном как Северск), он поступил в Литературный институт

3 «Take Five» (1989), «Сорок девять с половиной минут джаза» (1989–1990), «Сорок девять минут джаза» (1990–2004), «Девять минут джаза» (2007–2008), «Джаз на “Свободе”» (2008–2009), «Время джаза» (2009–2016).

имени Горького — на заочный курс, который вел поэт Лев Ошанин. В этом учебном заведении, несмотря на полнейшее отвращение к тому, чему и как там учили, ему удалось продержаться более трех лет, но в конце концов его оттуда все же выгнали — с 4-го курса. Поводом для исключения послужила написанная Савицким повесть под названием «Эскиз», в которой он попытался правдиво рассказать о том, что с ним происходило во время «отдания воинского долга советской Родине». Это сочинение (по позднему определению автора — «совершеннейшая дрянь, ни к черту не годная»), которое Савицкий опрометчиво давал читать кому-то из сокурсников, попало на глаза институтскому начальству и было воспринято как образец «антисоветской литературы» — со всеми вытекающими из данного определения последствиями. Наиболее впечатляющим из которых стало предложение поэта Ошанина отправить идейно незрелого студента Савицкого в психиатрическую клинику — «подлечиться от неверного восприятия окружающей действительности». Узнав об инициативе преподавателя, идейно незрелый студент, теперь уже бывший, спешно бежал из Москвы в Крым и в течение длительного времени скрывался в Коктебеле. Там он жил в доме пианистки Марии Николаевны Изергиной, знаменитом среди оппозиционно настроенных советских интеллектуалов, помогая пожилой даме по хозяйству, а на досуге сочиняя свои первые рассказы, впоследствии безжалостно уничтоженные вместе со множеством иных рукописей (включая и ту самую повесть) перед отъездом в Париж.

Писателем-беллетристом Дмитрию Савицкому было суждено стать уже на Западе — там, где располагалось метафизическое государство под названием Русское Зарубежье, не имевшее ни четко очерченных границ, ни правительства, ни каких бы то ни было традиционных атрибутов государственного устройства, за исключением единственного общего для его жителей способа коммуникации — русского языка.

В 1980-е годы поэзия, беллетристика и эссеистика Дмитрия Савицкого изредка печаталась в различных периодических изданиях Русского Зарубежья — журналах «Эхо», «Континент», «Стрелец», альманахах «Русский альманах», «Глагол» и «Часть речи». Тогда же в эмигрантских издательствах «Третья волна» и «Синтаксис» вышли две его книги: роман «Ниоткуда с любовью» (1986) и сборник рассказов «Вальс для К.» (1987). Они немедленно обратили на себя внимание прогрессивно мыслящей части читающей эмиграции, а эмигрантская критика зачислила Савицкого — наряду с такими литераторами, как Зиновий Зиник, Игорь Померанцев и Сергей Юрьенен — в категорию «новейших писателей», то есть таких, которые состоялись в данном качестве уже после того как оказались за пределами нелюбимого отечества.

Признание этих «новейших» там, откуда они разными способами сумели унести ноги, не заставило себя долго ждать. Во времена горбачевской перестройки (1986–1991), когда в медленно распадавшемся Советском Союзе один за другим рушились бастионы тоталитарной власти, важнейшую роль в ликвидации коммунизма играла освобождающаяся из-под цензурного гнета литература — как внутренняя, «советская», так и эмигрантская, «антисоветская». Причем удельный вес в этом процессе второй был ничуть не меньшим, но, быть может что и более существенным, чем первой⁴. После же отмены в 1990 году идеологической цензуры в СССР стали издавать вообще всех писателей Русского Зарубежья, а не только тех, кто уже давно покинул этот мир и не может как-либо напако-стить советской власти.

4 Данное утверждение является не более чем субъективным мнением автора, на истину в последней инстанции вовсе не претендуя.

Стали достоянием советских читателей и произведения Дмитрия Савицкого. Осенью 1990 года московское издательство «Радуга» выпустило его первую в СССР книгу — сборник, в который вошли роман «Ниоткуда с любовью», повесть «Вальс для К.», шесть рассказов и подборка избранных стихотворений. Книга, изданная стотысячным тиражом, была распродана подчистую за несколько недель — случай, по тем временам совершенно заурядный, но по нынешним воспринимающийся как свидетельство небывалого коммерческого успеха.

В то время, когда открывшие для себя «второго Бунина» (как характеризовали Савицкого его наиболее восторженные почитатели) сметали с прилавков «радужное» издание, его автор, находясь на берегах Сены, работал над своим вторым романом. Работа шла крайне медленно; на то, чтобы написать книгу объемом в 300 страниц, у Савицкого ушло не менее шести лет. Наконец, в 1995 году рукопись была завершена, и «Тема без вариаций» — такое название получило это сочинение на языке оригинала⁵ — была отправлена в Россию в поисках издателя. Долго искать такового не пришлось. Сначала весной 1996 года роман был опубликован в сокращенном виде в журнале «Знамя»⁶, затем — летом 1998-го — был выпущен в виде книги петербургским издательством «Химера» (которое только благодаря этому и осталось в истории российского книгоиздания, ибо почти сразу же вслед за тем было прихлопнуто приснопамятным августовским дефолтом). Стоит ли лишний раз упоминать о том, что и эта книга Дмитрия Савицкого так же мгновенно испарилась с прилавков книжных магазинов и лотков торговцев, в те времена во множестве оккупировавших подземные переходы возле станций метро и платформы железнодорожных вокзалов во всех крупных российских городах.

Случилось так, что этот успех стал для писателя Савицкого не только очередным, но и последним. Поскольку более ни одной его книги в постсоветской России при его жизни издано не было. В 2000-е годы было несколько неприятных историй, когда разные мелкие жулики-издатели (отчего-то сплошь из Санкт-Петербурга) заключали с ним договоры на переиздание ранее опубликованных произведений, но ни один из этих прохиндеев взятых на себя обязательств не выполнил. Это, разумеется, не могло не отражаться на эмоциональном состоянии Савицкого. И после очередной такой истории, случившейся в 2008 году, — тогда его обмануло издательство с названием, звучащим настолько непристойно, что мне противно его не только произносить, но и воспроизводить на бумаге, — Савицкий до такой степени обозлился, что принял решение никогда больше не иметь с российскими жуликами (он именовал их издевательски звучащим выражением «советские козлики») никаких дел. И решение свое выполнил.

* * *

Творческое наследие Дмитрия Савицкого в части беллетристики весьма невелико. Два романа, полторы повести и девять рассказов — вот, собственно, и все, что было им опубликовано за сорок лет писательской работы. Еще несколько сочинений остались в состоянии различной степени незавершенности. Это обстоятельство связано с тем, что в последние десять лет жизни Савицкий сознательно отказался от писательства, убедив себя в том, что его творчество никому, кроме него самого, не нужно, а потому ему нет надобности им заниматься.

5 В переводе на французский этот роман был издан в 2002 г. под названием «Passé décomposé, futur simple» («Разложившееся прошлое, упрощенное будущее»).

6 См.: Савицкий Д. Тема без вариаций // Знамя (Москва). 1996. № 3. С. 4–92.

В последние годы он несколько раз сообщал мне, что начал писать мемуары. Точнее, что не то уже начал, не то вот-вот начнет. Для этого сочинения было выбрано название — «Праздник, который...». Название, как он полагал, должно свидетельствовать не о сходстве его автора с Папой Хэмом (ровно ничего хемингуэевского в прозе Савицкого никогда не было и в помине), но о том, что основным персонажем этой книги станет Париж — город, в котором прошла большая часть его земной жизни и который Дмитрий с равной силой любил и ненавидел. В зависимости от настроения.

Что именно — какие тексты Савицкого — должны были войти в эту книгу, мне в точности неизвестно. По-видимому, он намеревался составить ее по принципу винегрета — то есть свалив туда все многочисленные написанные в прежние годы заметки, имеющие автобиографический характер: эссеистику первых лет жизни во Франции, публиковавшуюся только по-французски; отдельные тексты радиоскриптов, в большом количестве писавшихся им в течение нескольких десятилетий сотрудничества с голосами — русскими службами Би-Би-Си, Международного Французского Радио (RFI) и американской радиостанции «Свобода»; короткие зарисовки из утекающей в никуда (его любимая шуточка) жизни, в 2000-е годы изредка появлявшиеся в рубрике «Дневник недели» на его авторском сайте в Интернете. Впрочем, все это не более чем предположение; о структуре этого манускрипта мне неизвестно ничего за исключением того, что повествование в нем не должно было иметь традиционного для жанра воспоминаний линейного характера.

«Я физически не могу писать про себя, как в полицейском досье, — говорил Савицкий. — Понимаете, мон шер? Если я начну книгу фразой вроде: “Я родился 25 января 1944 года в Москве на Преображенке...”, то после этого останется только закончить другой: “А умер в...” Ну, скажем: “...в августе две тыщи какого-то на рю Муфтар в Латинском квартале”. А между ними оставить двести пустых страниц. Или триста. Вуаля!»

Он отчего-то считал, что умрет скорее всего в августе — на исходе лета, в пустом, душном, выжженном солнцем и вымершем на отпускной сезон Париже, в полном одиночестве, и о его смерти станет известно не сразу, а лишь после того как соседи, заподозрив неладное по запаху, позвонят в полицию...

Писательское предчувствие оказалось ложным. Дмитрий Савицкий умер не в августе, а в апреле, теплой парижской весной, когда в парке возле его дома на улице Клода Бернара распускались листья каштанов, берез, акации и японской софоры, а легкий, как шелковая занавеска, ветерок приносил на его балкон прелестный аромат только что появившейся на газонах травы. И произошло это не в собственной его постели, а на больничной койке в госпитале Аржантёя, одного из северных парижских пригородов.

В октябре 2017 года, переживая временный подъем сил и эмоций, когда ему казалось, что обрушившаяся на него годом ранее болезнь не является смертельной и у него получится обмануть «эту мойру», — Дмитрий Савицкий в последний раз вернулся к теме ненаписанных воспоминаний. Он попросил меня помочь ему отобрать материалы для включения в эту рукопись и прислал большой пакет разнообразных текстов, из которых, как он считал, и следует составить тот самый «Праздник, который...». Разобраться в этом словесном хаосе было весьма непросто. Все же я отобрал несколько фрагментов, которые посчитал безусловно заслуживающими публикации.

Получив список, Савицкий, по присущему ему обыкновению, принялся иронизировать. «Вам что — действительно это нравится? — писал он, имея в виду один из отобранных мною текстов. — Это же жуть! Халтурка для “Слободки”. Не имеющая ничего общего с литературой». И когда я отвечал, что он глубоко

заблуждается, что каждая выходящая из-под его пера страница является именно литературой, — в ответ следовало: «Ах, я и забыл. Вам же всегда нравилось то, что я пишу. Что это, по-вашему, гениально. Подозреваю, что если я напишу мелом на стене в своей проходняшке на Муфтар “Bordel de merde”⁷ — вы и про это скажете: гениально...»

Да, мон ами Димитрий. Скажу. Ибо так считал, считаю и буду считать. И надеюсь, что я такой не один.

Павел Матвеев

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ СО МНОЙ...

Вместо предисловия

Когда-то на Соколе в Москве, где со школьным приятелем Вовой С. мы гоняли в баскет, его старший брат, вернувшийся из армии, пристал ко мне.

— Гони трешник, — бубнил он, — скажу, как твое имя будет по-французски.

Я отшучивался, мне было и нелюбопытно и жалко трешника, которого и не было. В конце концов он отвалил, но напоследок прокричал:

— Димон де Савье!

Двадцать шесть лет спустя на четвертом этаже префектуры полиции на острове Сите в Париже очаровательная майорша со стальным взглядом, занимавшая моей натурализацией, неожиданно спросила:

— Мсье Савицки, а вы не хотели бы францизировать вашу фамилию?

Это был не первый и не последний тест-западня. Французы часто называли меня то Стависким, то Ставским, и я сам предлагал им не церемониться и звать, например, Швейцарским⁸ ...

— Что вы предлагаете? — спросил я майоршу.

— Ну, скажем... Сави? Димитрий Сави? Или Дмитрий Савье?

Будучи республиканкой (в отличие от брата Володи С.), частицей «де» она меня не одарила.

Я остался Савицким.

Еще несколько лет спустя из Москвы пришло письмо, в нем была статья из эмгэушной газеты и снимок. На снимке была моя молодая морда на фоне карты Парижа. На вид мне было лет двадцать. Автор статьи писал, что Дмитрий С. с детства был парижанином. Я помню лишь, что эта карта висела у меня над письменным столом — в Москве, в узком пенале жуткой коммуналки в Лиховом переулке, в доме № 8...

Париж — мой город, моя вторая родина. Мои книги выходят по-французски. У меня их уже пять. Или пока пять... В течение одиннадцати лет я печатался во французской прессе — от «Пари-Матч» и «Монд де ля мюзик» до «Люи» и «Эха Саванны». В «Либерасьон» мои статьи выходили каждый месяц, иногда каждую неделю.

Я пишу про Париж, но для меня Париж — вся Франция. Страна удивительно прекрасная, в которой есть абсолютно всё: снежные склоны Савойи и приморские сосны Кеброна, виноградники Лангедока, поля лаванды возле Грасса,

⁷ Дерьмовый бардак (фр.). Французское ругательство, аналог русского «чёрт побери».

⁸ Игра слов: Название «Швейцария» по-французски произносится как «Сюисс». Швисский — один из вариантов искаженного произнесения фамилии Савицкий на том же французском языке.

арены Нима и Арля... Жизнь коротка, когда у тебя две родины, тем более когда нужно до конца впитать две истории и две культуры.

Но когда я выхожу из дома и вижу древнюю башню в конце Турнефора, и купол Пантеона, и средневековые дома, нависающие над улицей, на которой я живу, — я знаю, что праздник все еще со мной и не собирается кончаться...

ПАРИЖ ЕСТЬ МИФ

Они врываются в Париж через Орлеанские ворота, через Шапель и Баньоле: стекло и лак, хром и сталь, чистенькие, двухэтажные, с панорамными окнами и химически чистым воздухом. По идее, их называют автокарами, но на самом деле это передвижные кинотеатры, и домохозяйка из Миннесоты, парочка дюссельдорфских пенсионеров или целая команда токийских бизнесменов, уютно в мягких плюшевых сиденьях, разглядывают живой до сих пор миф, город легенд, ползущий по гигантскому законному экрану. В антрактах их подкармливают в местных ресторанах свинными ножками и луковым супом, паштетом из гусиной печени, а сотерн и шампанское льются с такой же легкостью, как пиво у них на родине. После кофе и арманьяка наступает вечерний сеанс, они усаживаются во всё те же кресла, журчит в наушниках перевод, и подсвеченные силуэты соборов и дворцов плавно скользят по экрану... впрочем, если под колесами асфальт, а не революционный бульжник. Два, три, пять сеансов... фильм подходит к концу, химические фильтры всё хуже очищают воздух, по панорамным окнам бьют струи дождя, и через Орлеанские ворота, через Шапель и Баньоле они покидают город легенд и мифов. Сеанс окончен, впереди менее мягкие кресла «Боингов» и «Аэробусов», вата облаков и возвращение, приземление в реальность...

Попав в Париж, попасть в Париж трудно.

Он не просто соткан из мифов, он живет за их счет — они удерживают его в живых, наполняют его старые жилы подобием жизни. Если бы их не было, Париж стал бы просто складом старой архитектурной мебели, окаменевшим «Диснейлендом»...

Для человека, прожившего добрую половину жизни в стране, где историю во всех ее крупных и мелких деталях пытались уничтожить, растворить в потоках идеологической кислоты, Париж — открытие. Каждый квадратный сантиметр здесь туго набит историей. Это город призраков, безглавых святых и отравленных принцев, дебоширов в тяжелых плащах и куртизанок, одетых в броню кружев, заговорщиков в подвальных кафе и палачей, стерегущих в ночи лезвие гильотины. Миф же — это светящийся след, который тащится за историей, это ее эхо, лживое и кривляющееся, ибо у мифа нет возможности выжить вне преувеличения, вне гримасы — пугающей или соблазняющей...

Парижские мифы в чрезвычайно малой степени касаются самих парижан. Чем дольше ты живешь в этом городе, тем сильнее твой иммунитет к романтизированному прошлому. Хотя изрядная часть населения работает в этой индустрии мифов, получая за это реальные деньги. Но все двенадцать месяцев в году население Парижа удвоено: искатели того, чего нет, хотя бы малость потолкаться среди призраков: мускулистых монахов с Пор-Руаяль и рекой пропахших виноторговцев, горластых мушкетеров и бойких гризеток, бледных дуэлянтов и бессонных менял...

В этот Париж, попав в Париж, попасть легко.

Но в основном приезжий американец, шведка или аргентинец пытаются прописаться в двадцатых годах прошлого века, если нет, то хотя бы в пятидесятых. Музыкант или поэт, художник или фотограф, танцовщица или композитор

ищут Париж бурлящей артистической жизни, новых дерзких идей, ошеломляющих талантов, Париж художественных манифестов, той самой единственной, лишь Парижу небесами данной, свободы.

В этот Париж попасть вообще нельзя — его просто нет.

На самом деле последние представители той легендарной культуры покинули и Лютецию и этот бранный мир в восьмидесятых и девяностых. И не просыхавший Серж Гейнсбур, и великий сатирик Колюш, и два последних барда — Брассанс и Брель, философы, настоящие, не из «новой» волны: Арон, Сартр, Фуко, Делёз, писатели, которых стоило читать, Натали Саррот в первую очередь, — все они вслед за Камю и Кокто, Жераром Филиппом и Борисом Вьяном⁹, Барбарой и Габеном (список можно вытянуть по всему Сен-Жерменскому бульвару) отправились туда, где нет ни истории, ни ее мифов.

Кто остался? Кто правит бал? *Mediocratie et mediocrite*. Медиа и посредственность, посредственность медиа, напористый полихромный, торжествующий, раз и навсегда средний уровень. Можно не часами, а днями бродить по галереям Левого берега, бульвара Мальзерб и Марэ: все это было, все это повтор повторов, бесконечный вчерашний день. Филиппа Соллерса или Даниэля Пенака не станешь читать запоем, Бернар-Анри Леви вряд ли имеет отношение к философии, и лауреата 2004 года премии Ренодо, покойную Ирину Немировскую, можно без особых интеллектуальных потерь не покупать. Франсуаза Арди выпустила диск, в котором нет ничего, кроме пресловутой «прозрачности». Субсидированный кинематограф не лучше... Интеллектуальный Париж скучен, разбит по кланам, заперт на междусобойчики. Клань борются за власть и золото, публикуют сами себя, самим себе дают премии и самих себя выдвигают в академики. Интеллектуальный Париж — это мир не открытый, а обычного блата (*des piston*) и без этого «писто́на» пишущим и сочиняющим остается мир нового андеграунда — Интернета.

Если бы сегодня народилась новая банда дадаистов, или сюрреалистов, их не только бы не заметили, их бы не пустили на порог издательств, им бы не позволили ни одной художественной провокации, а если бы она и состоялась, от нее бы не было толку. Для довоенных авангардных движений нужен был буржуа, нужны были устои, нужно было хоть что-нибудь разрушать и хоть кого-нибудь эпатировать. Нынче эпатировать некого. Буржуа превратился в невидимку, замаскировался, и никакой эпатаж ему не страшен.

Решишь сегодня энергичный бедный Эрнест Хемингуэй поселиться в доме 74 на улице Кардинала Лемуана, у него ничего не выйдет. Ему просто не сдадут те самые две жалких комнатухи. Ему откажут, потому что у него не будет в наличии платежной ведомости за три месяца или поручительства от крупного издателя, или круглого, с колесами нулей, счета в банке. И он не сможет, сидя в брассри на Сен-Мишель с ноутбуком на полусдохших батарейках, заказать дюжину *portugaises*¹⁰ и полграфина сухого белого; начинающему писателю это будет не по карману, как и номер в холодной гостинице, где умер Верлен и где, по идее, сам он хотел бы работать, сидя спиной к камину...

Нынче нужно начинать с конца. Сначала написать «У нас в Мичигане», «Фиесту» и все остальное, а потом селиться в Париже. Что применимо и к Генри Миллеру, впрочем, он всегда жил задарма у друзей, у него были бы другие проблемы, потому что в кафе «Элефан» на бульваре Бомарше больше нет проституток, которые дают в кредит... У девиц этой профессии на Сен-Дени или Бланш

⁹ В публикации сохраняются отдельные особенности авторской орфографии.

¹⁰ Сорт устриц.

перевелись столь любимые Генри «большие и щедрые сердца», да они и не всегда девицы — в смысле пола — и изъясняются чаще по-испански или на одном из восточноевропейских...

Миф, которым нас одарили Хемингуэй, Скотт Фитцджеральд или Миллер, крепко стоял на американском долларе. Он был настолько сильнее франка, что на один рассказ можно было прожить месяц или три. (В случае автора «Тропика» — на почтовый перевод от Моны из Нью-Йорка.) Американская колония эпохи *des années folles*¹¹ жила на разницу в валюте. Ее вторым мифом была свобода печати в Париже. Здесь можно было тиснуть у несостоявшегося писателя Джека Кахане¹² в «Обелиск-Пресс» и «Тропик», и «Лолиту» — французские цензоры просто-напросто не читали по-английски.

Еще одной легендой, одним мифом является миф о невероятной французской свободе. Как насчет того, что француженки не имели права голосовать до 1948 года? А презумпция невиновности? Кто бы мог подумать, что она не существовала аж до 2001 года, а после введения тут же была украшена поправками. Полицейским и следователям несподручно было при наличии этого нововведения трудиться. Теракты все изменили.

Но самым большим мифом столицы был, конечно, секс. Я застал последние всплески сексуальной революции. Ее породил не столько Шестидесят восьмой год, хотя это был успешный бунт против отцов и их полиции нравов, сколько появление противозачаточных средств и закон, проведенный в Национальной ассамблее министром здравоохранения Симоной Вейль, легализовавший аборты. Декларацию в защиту проекта закона подписали триста самых знаменитых француженок. Она называлась «Декларация Трехсот Шлюх».

Вряд ли стоит говорить о «легкости поведения» француженок. Пионер сексологии Хавелок Эллис писал в начале прошлого века после прочтения рукописи анонимного русского автора, озаглавленной «Исповедь Виктора Икс», что «у русских какая-то таитянская сексуальность». И «русские» и поныне там.

По-настоящему красивых парижанок мало. Это вам не Лос-Анджелес и не Москва. Но у них есть то, чего не найдешь ни в Москве, ни в Эл-Эй, — не вытирающий, не кричащий шарм, такт, приглушенная элегантность. И еще — нечто неуловимое, некий талант, одним им известные правила игры. Причем игра — жизнь, то есть — секс. Зигмунд Иванович не устарел: на свете нет ничего, кроме секса. И денег, добавлю я.

Да, они не ошеломительно красивы, но удивительно милы. При этом они могут сволочиться так, как не снилось и булгаковским дворничихам. Они удивительно зрелы в сексуальных играх, даже в самом юном возрасте. Изобретательны, без механичности американок и тяжеловесности русских. Они, если уж громко или молча сказали «да», то честны на поле этих сражений, внимательны и не менее горячи, чем испанки или итальянки. И, за редкими исключениями, не умеют «это» делать молча. Так что летними ночами Париж открытых окон напоминает эдакий зверинец любви...

Глупо обобщать, но у парижанок особая культура секса или по крайней мере то, что от нее осталось, так как коренных парижанок не так уж и много. Несомненно, так же, как за столом, они не способны нарушить протокол вкуса, точно так же и в постели они живут по особым правилам, которых нет в книгах и которые не излагаются устно.

¹¹ *Безумных двадцатых* (фр.). Буквально: сумасшедших лет.

¹² *Джек Кахане* (1887–1939) — французский издатель, владелец парижского англоязычного издательства «Obelisk Press», отец издателя Мориса Жиродиа (см. далее).

Парижанин, наоборот, скорее хорош собою, заносчив, чванлив, мачо, что часто обкрадывает его потенциал. Статистика гласит, что он не очень любит мыться и чистить зубы, но, воспитанный чуткими любовницами, он по большей части хороший любовник, весьма часто бисексуал. Бывший колонизатор и житель колоний, он усвоил от марокканцев и тунисцев, что все — секс, все съедобно и все потребимо. Чтобы понять и парижанок, и парижан, нужно читать не де Сада, а «Опасные связи» Лакло.

Появление СПИДа было сексуальной контрреволюцией. Последнее эхо 1968 года перешло в шепот и умолкло в закоулках Латинского квартала. Лишь древний квартал Марэ продолжает свинговать направо, но Марэ нынче — это голубой квартал.

Конечно, реальных Парижей, не паразитирующих на мифах, — не два и не три, и попасть можно не во все. Но Париж частных клубов так же герметичен и малодоступен, как и Париж гетто. Хотя в гетто, в так называемые «зоны беззакония», все же можно попасть, труднее — выбраться.

Так что, очутившись в этом городке на Сене, имеет смысл попытаться слой за слоем содрать с него шелуху легенд и мифов. Оставив все же малость тусклой позолоты. Без нее Париж — просто город чиновников, рвачей, мелких торговцев, полоумных миллионеров, клошаров и — соответственно — иммигрантов.

Не принадлежа ни к первым, ни ко вторым, ни к третьим, тем более к четвертым, надеясь не оказаться среди пятых и являясь шестым, — я, как и каждый многолетний житель этого города, могу много чего о нем рассказать. О нем — и о себе.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО ПАРИЖУ

Зимой 1979 года я перебрался с Монпарнаса на Бастилию, с улицы Шато — на Амлю, что рядом с бульваром Бомарше. В тот первый период моей парижской жизни я жил на автопилоте. Все происходило само по себе, без моего участия. Я замечал, что существую, лишь отражаясь в черном окне вагона метро или в зрачках случайной подружки...

Жизнь раскололась на две половинки. Одна была размером в тридцать четыре года, другая — в шесть месяцев.

Прошлое воспринималось как болезнь. Казалось, еще немного — и лихорадка исчезнет, исчезнут странные приступы слабости и ошеломительной, совершенно бесполезной энергии — и начнется невероятная, неподдельная, действительно настоящая жизнь.

Эти первые шесть месяцев во Франции были смесью кошмара, от которого некуда проснуться, и праздника, который — увы! — всегда с тобой.

Но той смехотворно теплой зимой, где-то в феврале, бывшее стало выпадать наконец-то в осадок, настоящее — проясняться, а я начал всплывать, как та самая Желтая Подлодка...

Я помню набережную канала Сен-Мартен, где я кормил чаек и искал дрова для прожорливого камина. В те времена там была не стоянка яхт и катеров, как нынче, а какие-то старые склады — в основном, сантехники. Я отдирали от ящиков старые доски, прихватывал какое-нибудь сырое полено...

От хозяина мне достался полусонный, без одного уха котиче по кличке Чернослив. Сидя на полу напротив камина, не зажигая свет, мы вместе следили за тем, как танцуют, не желая умирать, алые и голубые саламандры. Утром я выметал из камина вместе с золой гвозди и проволочные скрепки. Два электрических радиатора в моей комнате грели исправно, но мне не нравился звук счетчика, который начинал кружиться, что твоя юла, стоило включить электроотопление.

К тому же я всегда мечтал о камине — с мраморной доской, с высоким зеркалом в золотой раме. Зеркало было старым, зеленым, подводным, с патиной, с дырами, через которые *оттуда* — с обратной стороны — ночью сочился лиловый свет...

Я писал для «Либерасьон». Серж Жюли¹³, главный редактор, в те времена еще длинноволосый, в засаленной кожаной куртке, — до прихода к власти Миттерана, то есть до костюма-тройки, до галстука и короткой стрижки оставалось три года, — дал мне *carte blanche*, и я писал что в голову взбредет, выпуская иногда страницу, а иногда и разворот — с заголовками вроде: «Кровь, пот и... водка» или: «Серпом — по яйцам, молотом — по голове»...

Позднее я понял, что статьи моих первых лет и первые мои две книги¹⁴ помогли мне справиться с прошлым, разобраться в нем, разложить его по полкам в собственном архиве, что позднее дало мне возможность крепко закрыть на ключ эту кладовку. Увы, не навсегда...

Одна из статей была посвящена частушкам и мату — русским лимерикам и выражениям, которые во Франции уже давным-давно не шокировали никого — ни школьников, ни их бабушек. Я помню мой собственный шок от этой части словаря, когда французский язык перестал быть журчанием и бульканьем фоном и начал прорастать — сквозь меня — целыми фразами.

Именно в один из таких моментов в голове моей всплыло имя Генри Миллера. Я вспомнил московскую легенду о единственном русском экземпляре «Тропика Рака», который выдавался неким художником — на несколько часов, для прочтения — без права выноса из квартиры. Я никогда не видел этот русский перевод. Мой экземпляр был растрепанным, на всякий случай без обложки, карманным изданием — кажется, издательства «Black Cat»¹⁵.

ПО СЛЕДАМ ГЕНРИ МИЛЛЕРА

Однажды, возвращаясь домой из редакции, размышляя о Миллере — о том, что он жил на тех же монпарнасских улочках, где я провел мои первые месяцы, сидел в тех же забегаловках, — я вдруг остановился как вкопанный. Конечно же, я знал, что Миллер был влюблен в проститутку с бульвара Бомарше; конечно же, я помнил, в каком кафе он ее подцепил. Я хорошо помню этот момент: я как раз тряс мелочью в кармане куртки, соображая, выпить кофе дома или же заскочить в кафе. Называлось оно «L'Éléphant» («Слон») — и в рыжем электрическом воздухе над стойкой пылили сизые клубы «Голуза»...

Я, в общем-то, помнил все детали.

Наглый Генри был бруклинской школы и любил раскидывать чернуху. Когда Жермен, поджидавшая клиентов в «Слоне», предложила ему «слетать на Луну и обратно», он сказал ей, что у него недостаточно денег. Он был писателем, а что можно заработать пером?..

Жермен понравилось то, что перед ней — писатель. Безденежье же американцев, думала она, явление временное. Они сошлись на двадцати франках. Еще

13 Серж Жюли (р. 1942) — французский журналист, редактор и издательский работник. Основатель и первый главный редактор ежедневной левоцентристской газеты «Libération», издающейся в Париже с 1973 г.

14 «Раздвоенные люди» (1979) и «Антигид по Москве» (1980), опубликованные сразу в переводе на французский под псевдонимами: первая — Александр Димов, вторая — Александр Савицкий-Димов.

15 «Черный кот» (англ.).

пять он выложил за комнату в отеле на улице Амло (где я теперь и проживал), плюс два франка за резиновое изделие местной Баковки.

Луна начала увеличиваться в размерах...

* * *

В марте 1933 года в Париже Анаис Нин организовала встречу своего психоаналитика и своего любовника — Отто Ранка и Генри Миллера. За спиной Ранка были двадцать лет работы в Вене с Фрейдом. В активе Миллера была все еще не опубликованная — скандальная, революционная, спорная — книга «Тропик Рака».

Сорокадвухлетний Миллер был сухим лысым человеком, которого издалеко можно было принять за подростка. Он носил мятые рубахи с чужого плеча и жеванные брюки, подаренные друзьями. Его портрет завершали очки, кепка и свисающая с губы сигарета. Он был знаменит в узком кругу друзей и почитателей, верил в силу чисел, заказывал гороскопы, читал Блаватскую, почитал Лао Цзы и собирался в ближайшее время умереть. Он выдал Анаис Нин завещание, в котором поручал ей вести все свои посмертные дела, передал ей права на свои рукописи, а заодно и на 3300 долларов долгов. Жить ему оставалось 47 лет.

Генри обладал здоровым защитным скептицизмом человека, выросшего на бруклинских улицах. Как в знаменитом рассказе Достоевского, пролы бруклинских улиц обходились четырьмя-пятью корневыми словами и их производными. Генри Вэл Миллер взошел на бруклинской ругани; это был его словарь, и он не собирался пропускать собственные мысли через фильтр интеллектуализма.

Существование психоанализа и сам метод Фрейда и притягивал и раздражал Миллера. Дабы избавиться одним махом от всей психоаналитической теории, он создал собственную, по которой Зигмунд Фрейд был сам по себе великим художником и... аутсайдером, который выдумал — для себя лично — целый мир, снабдив свою выдумку системой объяснений. Миллер считал, что метод Фрейда годился лишь для одного-единственного пациента — самого Фрейда. «Мне представляется неизбежным, — писал он, — что со все возрастающим влиянием аналитиков зона, захваченная неврозами, возрастет и станет всеохватывающей. Невроз займет законное место в иерархии наших болезней — таких, как туберкулез, рак и так далее». В 1976 году, когда культ Миллера был разрушен теми, кого он сам породил своей сексуальной революцией (то есть феминистками, обвинившими его в «сексизме»), Норман Мэйлер, оглядываясь на долгий творческий путь Миллера, писал, к примеру, что «Розовое распятие» Миллера было одой из крупнейших неудач в истории романа: «То был литературный пирог размером с Гималаи, который, увы, не взошел».

Для тех, кто серьезно относится к автору «Тропика Рака», «Черной весны», «Колосса Марусси», так же ясно, что не Фрейд создал для удовлетворения своего артистического импульса отдельный и фантастический мир, а сам Миллер. Дело не в том, что Нарцисс влюбляется в самого себя (он не знает, что это — он сам), а в том, что он тонет, гибнет в отраженной реальности. Поэтому когда в Париже 1933 года Миллер уселся в кресло напротив Отто Ранка, он не рисковал ничем. Его не интересовали трактовки его собственных сексуальных отклонений — явного вуайеризма или же латентного гомосексуализма — он успел превратить их в художественный манифест. Конечно, Ранк был послем самого Фрейда, но для Миллера важнее было то, что Ранк был потенциальным любовником Анаис Нин. А Нин была единственной женщиной, на которой он хотел жениться и которую брак с Миллером не интересовал.

Самое забавное в этой истории — то, что через год именно Отто Ранк передал Миллеру через Анаис Нин 5000 долларов — сумму, по тем временам большую, — для осуществления публикации «Тропика Рака»¹⁶.

* * *

Миллер часто приходил мне на ум в те годы в Париже. По многим причинам. Я постоянно натыкался на его следы. Я постоянно сталкивался с его легендой. Конечно, и сам по себе Париж — город, в котором художник либо обрастает мифом, как иной спортсмен мускулами, либо — исчезает. По крайней мере, тогда мне так казалось.

Я бывал в Лувенсьене, где до войны жила Анаис Нин — его богатая любовница, его интеллектуальная сестра. Я провел однажды август на последнем этаже шикарного дома на площади Сен-Жорж — когда-то это была площадь дорогих борделей; Миллер водил сюда богатых знакомых. Я занимался ненормативной лексикой, пытался понять, как обкатываются некоторые слова на разных языках, почему они становятся в итоге общеупотребительными и почему в других культурах табу и лицемерие остаются железобетонными. Тема эта была, конечно, и темой Миллера. Я вспоминал его рык, его вопль: в Америке не разрешили его напечатать из-за — как он сам утверждал — «полудюжины слов». Я, само собой, писал о цензуре; я сам был ее побочным продуктом.

Затем Миллер и миф о нем начали уплотняться, складываться в одно целое. Появились люди, знавшие его лично. И когда в 1984 году в Нью-Йорке, в Гринвич-Виллидж, я попал в огромный — на двух уровнях, зажатый между типографией и редакторским этажом, — кабинет издателя Барни Россета¹⁷, хозяйина «Гроув-Пресс», все стало на свои места.

ЧЕЛОВЕК, СВАЛИВШИЙ ЦЕНЗУРУ

Барни Россет был тем самым человеком, который опубликовал Миллера легально — и выиграл процесс против американской цензуры.

В тот первый раз, когда мой парижский знакомый американец Джон Оукс-младший (он же — нью-йоркский сотрудник «Гроув-Пресс») познакомил нас, было десять часов утра, и высокий, худой 62-летний Барни держал в руке второй хайбол с виски. На стенах висели огромные абстрактные полотна первой жены Барни — Джоан Митчелл.

Барни Россет сам по себе — легенда. В послевоенные годы он опубликовал в США Кэти Эйкер, Сэмюэля Беккетта, Хорхе Луиса Борхеса, Бертольта Брехта, Андрея Белого, Михаила Булгакова, Андре Бретона, Уильяма Бороха, Жана Кокто, Маргарет Дюрас, Жана Жене, Витольда Гомбровича, Альфреда Жари, Джека Керуака, Ди Эйч Лоуренса, Андрэ Мальро, Славомира Мрожека, Алена Роб-Грийе, Хьюберта Селби, Эжена Ионеско, Тома Стоппарда, Франсуа Трюфо, Дэвида Мамета, Джона Ричи — и так далее, включая книги по психоанализу, восточной

16 Первая и самая известная книга Г. Миллера была выпущена в 1934 г. парижским англоязычным издательством «Obelisk Press», возглавлявшимся Джеком Кахане (см. выше).

17 Барнет Россет-младший (1922–2012) — американский издатель, владелец и главный редактор нью-йоркского издательства «Grove Press». В 1962 г. получил всеамериканскую известность в качестве человека, уничтожившего американскую цензуру в области книгоиздания.

философии, дзену, мистицизму, стихи Шарля Бодлера и работы почти неизбежного в такой коллекции бастильского узника, автора «Жюстины».

Список авторов «Гроув-Пресс» впечатлял. Но расспросить Барни Россета о его отношениях с Миллером в тот раз мне не удалось.

Осенью того же 1984 года мы сидели с Россетом в отвратительно современном кафе на перекрестке улицы Бак и бульвара Сен-Жермен в Париже. За окном, несмотря на день, было черным-черно, по стеклам хлестал затяжной дождь. В хайболе Россета опять звенел лед.

— Когда я в первый раз приехал к Генри Миллеру в Калифорнию, в местечко Эндерсон-Крик в Биг-Сюре, с предложением опубликовать «Тропик Рака» легально, он ответил коротким «нет», — рассказывал Россет. — У меня осталось от этой встречи впечатление, что Миллер и не хотел переходить в категорию публикуемых авторов. Он, с одной стороны, гордился своим титулом «подпольного писателя», этакого Папаши Американского Самиздата, а с другой — самым неприкрытым образом боялся, что, если «Тропик» появится в книжных, его отымеют во все отверстия.

— Какое у вас осталось впечатление от первых встреч с Миллером? — спросил я.

— Чрезвычайно осторожный. Было видно, что это пришло с возрастом, что в молодости он был другим. Очень мудрый. Глаза его почти все время были полуприкрыты. Как у кобры.

Мечта опубликовать «Тропик Рака» Генри Миллера засела в голове Россета буквально еще в школьные дни.

Он родился и вырос в Чикаго. Его мать была ирландкой, отец — евреем. Брак по тем временам был странным... если не скандальным. Он учился в либеральной школе, политически ориентированной и с акцентом на гуманитарные науки.

Экземпляр «Тропика Рака» попал к нему в руки в 1940 году. Это было типичное нелегальное издание, которых были десятки в США и на которых — для прикрытия — стояло: «Отпечатано в Мексике». Естественно, автор получал от таких публикаций — шиш.

Уже в те времена Россет точил молодые зубы на американский Главлит. Но война на четыре года заставила его забыть про писателей, литературу и цензуру, закинув его в Китай, где он был армейским фотографом. После войны в Париже Россет встретился с молодой талантливой художницей Джоан Митчелл, и они поженились.

Перебравшись в Нью-Йорк, Россет перенял издательское дело у приятеля, который, опубликовав три книги, разочаровался в предприятии, и — у себя дома, на Гроув-стрит, вместе с Джоан — приступил к созданию самой удивительной на американском берегу Атлантики коллекции современной прозы.

Он начал с «Любовника леди Чаттерли» Лоуренса. Книга была уже опубликована, но в весьма кастрированном виде. Россет запустил в набор авторский вариант романа — и тем самым пробил первую брешь в частокле американской цензуры.

В течение семи лет пытался Россет уломать Миллера. Помог ему уговорить писателя его парижский издатель — хозяин «Олимпии» Морис Жиродиа¹⁸.

¹⁸ Морис Жиродиа (1919–1990) — французский издатель, владелец издательств «Olympe Press» (1953–1964), «Ophelia Press» и других, являвшихся клонами предыдущих. Находясь

Жиродиа — фигура противоречивая, человек, о котором трудно говорить, так как вокруг него вращаются на разных орбитах десятки туманностей, странных мифов и явно сфальсифицированных сюжетов. Одна из таких туманностей — история первой публикации «Лолиты» Набокова и его отношения с охотником на бабочек.

— Зимой шестьдесят первого года Жиродиа прислал мне телеграмму, — рассказывает Россет. — «Миллер согласен. Срочно прилетай в Гамбург». Я тут же вылетел. В Гамбурге, в гостинице «Атлантик», мы сыграли с Миллером партию в пинг-понг и подписали контракт. Это было восемнадцатого февраля тысяча девятьсот шестьдесят первого года.

— Сколько вы ему заплатили? — спрашиваю я.

— Лоуренсу мы не заплатили ничего¹⁹, — ухмыляется Россет. — Но Миллер был невероятно известен... Если мне не изменяет память, мы выдали ему сто тысяч долларов аванса.

Позднее я проверил цифру. Она оказалась ровно в два раза меньшей. Но по тем временам это все же были большие деньги: за свой летний домик в Калифорнии Миллер платил 15 долларов в месяц.

— Была ли успешна ваша публикация «Тропика Рака»? — задаю я вопрос.

...За окном продолжает хлестать глянцево-черный дождь. Такси плывут по Сен-Жерменскому бульвару как парад карманных подводных лодок. Краем глаза отмечаю вошедшего в кафе Виктора Некрасова.

— У нас было немало проблем. Тираж пытались арестовать.

— Миллер передал вам копирайт на все свои книги?

— Нет, часть вышла до этого в «Новых направлениях»²⁰. На нашу долю достались оба «Тропика» — «Рака» и «Козерога», плюс трилогия «Плексус», «Сексус», «Нексус», а также «Тихие дни в Клиши», «Под крышами Парижа» и «Черная весна».

Начав издавать Миллера, Россет естественно — и незамедлительно — попал под огонь винчестеров американских цензоров. Но в июле 1962 года вышел 25-й номер ежеквартального альманаха «Evergreen Review» («Вечнозеленое обозрение»), который был побочным продуктом деятельности Барни. Этот номер стал историческим. Крупным шрифтом на обложке было набрано: «ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ СВОБОДЫ ЧИТАТЬ». Далее шел текст, подписанный 210 писателями и издателями, в котором утверждалось, что читатель сам должен выбирать, что ему читать, а что нет — читатель, а не цензоры. Среди подписавших «Заявление» были Уильям Стайрон, Карлос Шапиро, Филипп Рот, Эрстен Колду-

в Париже, выпускал книги только на английском языке. В конце 1950-х — начале 1960-х гг. получил скандальную известность как издатель-порнограф и мошенник, обкрадывавший своих авторов. В 1963 г. против М. Жиродиа было начато судебное преследование по обвинению в мошенничестве и преступлениях против общественной нравственности. В марте 1964 г. был приговорен к одному году тюремного заключения и крупному денежному штрафу с последующим запретом заниматься издательской деятельностью сроком на 20 лет. После выхода из тюрьмы пытался возобновить свой бизнес за пределами Франции, однако обанкротился и прогорел.

¹⁹ Английский писатель Дэвид Герберт Лоуренс (1885–1930) умер 2 марта 1930 г.

²⁰ «Новые направления» (англ. «New Directions Publishing») — культовое американское издательство, созданное в 1936 г. миллионером-интеллектуалом Джеймсом Лафлином (1914–1997).

элл, Трумэн Капоте, Джон Дос Пассос, Олдос Хаксли, Альфред Казин, Джек Керуак, Джеймс Болдуин, Сол Беллоу, Норман Мэйлер, Генри Миллер и редакторы и издатели таких ведущих домов, как «Вайкинг», «Макгроу», «Саймон энд Шустер», «Рэндом Хаус» и «Фаррар, Страус энд Жиру».

Опубликованное в «Evergreen Review» «Заявление» призывало поддержать адвоката Сэмюэля Эпстайна, который, защищая в чикагском суде издателя Барни Россета, выпустившего «Тропик Рака», требовал отмены цензурного запрета на распространение этой книги. В призыве, в частности, говорилось: «Вместе с адвокатом Эпстайном мы уверены в том, что ни полиция, ни суд не имеют права диктовать, что именно следует читать свободному читателю. Дело заключается не в том, чтобы обсуждать качество текста “Тропика Рака”, а в том, находится ли творческая честность автора под защитой Конституции США».

Издатель Барни Россет и адвокат Сэмюэль Эпстайн выиграли «Чикагский процесс». Американская цензура пала.

Россет купил четырехэтажный дом на Вест Хаустон в Гринвич-Виллидж и, засучив рукава, взялся за работу. Все, о чем он когда-то мечтал, стало осуществимым.

Вика Некрасов сидит от нас по диагонали. Пьет пиво и курит. За окном — все те рыбы плавники машин, все та же ночь, но теперь законная — на часах начало восьмого.

Я задаю Россету еще несколько вопросов — о Сэмюэле Беккетте, Жане Жене, Хьюберте Селби, Маргарет Дюрас. О том, отчего он так и не стал первым американским издателем набоковской «Лолиты»²¹. Барни отвечает, перемежая воспоминания забавными сюжетами, которые знает и помнит только он.

— Как так случилось, — спрашиваю я наконец, — что все остальные издательства — солидные и мобильные — прошлепали столько выдающихся авторов? А вы — нет?

— Не знаю. Скорее всего, по глупости, — отвечает Россет.

— А каково ваше впечатление о современных писателях?

— Не вижу ничего стоящего.

Мы расходимся около девяти.

Прямой, как отставной адмирал, — сухой, крепкий — Барни Россет, высадивший этак с дюжину хайболов сыромятной кожей отдающего «Лафройга»²², растворяется в сырой мгле лихорадочно пульсирующего огнями бульвара. Дождь кончился, и большая седая голова Вики Некрасова, выпускающего дым к потолку, ясно видна сквозь чисто вымытое стекло кафе...

НАСМОРК СВОБОДЫ²³

Эссе

Париж пуст. Словно город наклонили к югу, и он отхлынул, растекся цветными ручейками, сбегал вниз, пока не остановился на жалкой замусоренной средиземноморской кромке песка и воды.

21 Б. Россет намеревался издать роман В. Набокова «Лолита», однако не захотел влезать в скандальную тяжбу за копирайт между писателем и его первым издателем М. Жиродиа.

22 Марка виски.

23 Это, насколько мне известно, первый опыт Дмитрия Савицкого в беллетристике. Именно с этого эссе он начался как писатель.

Солнце раскалило крыши брошенных в узких улочках машин. Ставни глухо задраены. Магазины умерли. Уличные коты обнаглели.

Увядаящая красotka вместе с еще не расцветшей дочкой, зевая в полуобмороке, опускается на ослепительно-белые стулья террасы и тут же подскакивает — ожог гостеприимства. У продавца сладостей стекла темных очков размыты потом, толпа буквально течет мимо. Стада оккупировавших город туристов блеют на всех углах. Сену патрулируют забитые до отказа кораблики. Когда тень моста накрывает их на миг — раздается общий вздох облегчения. Дневные пташки на Клиши не теряют время на макияж — все течет, течет и краска.

* * *

Вечерами Париж уже не пылает костром, а тихо тлеет в лучах заката, косо бьющих с холмов Монмартра. Розовая Сакре-Кёр, теряя вес, под рев гитар идет на взлет. Дешевые украшения ночи, расплавленные духотой, оплывают, теряя резкость. Вечный рубиновый крестик самолета застрял в непогасшем облаке, бессильный пробиться к океану. Первые опавшие листья на острове Сан-Луи танцуют мышиные хороводы в ленивом ночном сквозняке. Восходит луна. И она оплыла огарком. Ни отношения людей, ни приметы мира не могут уплотниться нынче до трезвой конкретности. В Ле-Аль хозяева крошечной лавочки укладывают спать приехавших издалека друзей прямо на пухлых подушках витрины. Дрожат юбки и рубашки на вешалках, китайская чашка вместе с блюдечком ползет к обрыву полки — в магазине свершается дорожная любовь.

Днем я видел голых дам в меховом магазине на улице Лафайетт. Их шубы унесли, их меха спрятали от прожорливых маленьких бабочек. Они стояли, растопырив цветущие пальцы, их груди и ноги лишь до половины были вызолочены краской — экономия соблазна.

* * *

В три утра на Конкорд, отлепившись от потных джинсов, я пронырнул насквозь ледяную чашу фонтана. Незнакомая особь неизвестного пола на всех языках сразу приветствовала мое появление на другом берегу. «Ты сумасшедший», — сказала она. Толстая самокрутка марихуаны напомнила мне трубу Диззи Гиллеспи.

Дома в лунной луже на полу валялась исчерканная рукопись. Духота давила потной грудью. Вода в ванной училась считать до тысячи.

* * *

Моя память спутана. Волосы после любви. Шнурки перед побегом. Ночная глыба прошлого иссверлена огоньками сигарет. События давних дней почтвыми марками наклеены, как попало. Инспекция проводится второпях. Так в перевернутой после обыска квартире ищут спички, чтобы заварить чай.

Покидая страну, прощаясь с жизнью, протискиваясь сквозь inferнальный ноль таможни, ничего не возьмешь с собой — ни писем, ни фотографии, на которой сидишь в раззеванном счастье, глядя мимо объектива на чьи-то летящие волосы. Мать-мачеха выпускает тебя погулять голым. Слово «родина» впервые звучит угрозой.

Давно ли, в цветущих горах, обрывающихся над сморщенной кожей моря, ты говорил себе: стану ли разменивать золото памяти на кислую медь воспоминаний? Предутренний ветерок вскипает между разинутых в зевоте окон, страницы

трепыхаются на полу. Куда вам! Бескрылые! Лишь долдонит свой урок плохо завернутый кран, да где-то играют на флейте. «Так же просто, как лгать. Перебирайте пальцами».

Старая записная книжка, не отобранная лейтенантом в аэропорту, — вот мое прошлое. Я смотрю на тайнопись телефонных цифр, на строенные инициалы. Кто-то участливо шепчет в ухо: первое, что ударит тебя, ошеломит — это цвет, иная интенсивность цвета; второе — запахи...

Сквознячки свободны. Мелкие юркие бесы. Я схватил от этого насморк. Мои глаза слезятся. Я раздираю их в липком сне. «Почему-чему-му ты уехал?» — бубнит кто-то, и я слышу, как по пустой улице медленно лязгает гусеницами помочный танк. Охают переворачиваемые баки. С закрытыми глазами я вижу, как лиловый малый в старых перчатках на пенящейся молодым солнцем розовой улице разглядывает вытащенные из глотки машины драные джинсы. Секунду он думает и откладывает их в сторону. Казнь не состоялась.

— У меня клаустрофобия, — отвечаю я. — Достаточно и того, что мы заперты во времени, время влито в пространство и все это размешано кривой ложкой судьбы.

— Значит, у тех, других, — подначивает сходящий на нет голос, — у них что — агорафобия?

Какое мне дело? Какое мне, право, дело? У них полны закрома, шкатулка Кремля до самой звездочки набита такой мрачной чепухой, таким застарелым бредом, что если бы я мог проснуться хоть на мгновение, то тотчас всех наградил орденом имени Андре Бретона, медалью Сальвадора Дали и каждому в зубы бы дал по путевке в санаторий имени Иеронима Босха.

* * *

Пробовали ли вы когда-нибудь, прилипнув к окну самолета, разглядеть внизу в равнодушном мелькании какой-нибудь намек на государственную границу? Красную каемочку, полосатую змейку, столб, наконец, или камень со словами: «Налево пойдешь...»? Три почтенные дамы из Лиона, сидевшие рядом, испуганно отказались от водки, а лилась она в тот день как вода. Где-то над Балтикой литровая бутылка была наполовину пуста. Серые беспаспортные облака, туристские, тягучие, как чуингам, разговорчики, на кошачьих лапках спящая с косо приколотой улыбкой стюардесса и, как взрыв солнца внизу, на исходе терпения, на последнем глотке — колючий мех виноградника — Франция. «Я молю как жалости и милости, Франция, твоей земли и жимолости...» Мы ушли из-под туч, мы, обжигаясь, загасили сигареты и удушились ремнями, мы спрятали пустую бутылку «Сибирской» в кенгуриный карман кресла, мы были трезвы вдребезги, земля пожимала плечами — то правым, то левым, армейская катушка связи на спине размотала последние метры невидимого кабеля, прошлое (оно началось сегодня утром) натянулось как струна.

Хлынули, потекли навстречу коридоры Орли. Каждый крошечный киоск упор расстреливал радугой. Надписи из-за своей флюоресцентности не прочитывались. Я не мог найти выхода. Усатый офицер изучал мою фотографию в паспорте. К удивлению, он нашел, что мы схожи. Мне-то казалось, что четыре часа в брюхе «Ту» состарили и омолодили, вывернули наизнанку и подвесили вверх ногами. Но ничего; ангелы, усевшись на электрическое табло рейсов, насвистывали «Бахиану» Вила-Лобоса. Экий снобизм! Черные планшетки с названиями столиц мелькали. Мир из плоского, покоящегося на партийной черепахе и полицейских слонах, становился круглым. Толпа бурлила, и было непонятно, каким образом в этом водовороте нужно сделать первый шаг, как поставить ногу,

куда деть локоть, чем дышать и как умудриться погасить идиотскую угрюмую улыбочку, плотно залепившую лицо.

* * *

Время маленьких кофейных чашек, время ветра, лижущегося, как щенок, время вялых от усталости секретов. «Знаете ли вы, — обратился я к парижанам, струящимся мимо моего столика, — что вы двигаетесь по-иному? Ваша обычная дневная, вечерняя, замаянная или свежая пластика движений так же отличается от нашей, как пальто, сшитое фабрикой им. Вождя города Угрюмска, от обычного пиджачка, купленного в захудалом городишке Монтрой? Тоталитаризм — веселая штука, некий двигательный паралич прежде всего, ощущение рамок, тяжести ограничителей. Самоцензура. Глядите: вот они переваливаются в синем свете вечерней кинохроники по коврам зала приемов, а вот и мы — такие же тюлени — дружно ковыляем через Красную площадь в полиомиелите верноподданничества. Попробуй разреши рукам делать, что им хочется, — они такого натворят! А ногам, скажем, идти туда, куда тянет — ай-ай! — как бы из этого чего худого не вышло... И пульсирует скорченная внутренняя схема, звенят звоночки, кипит в крови адреналин, и мы расходимся по домам, советские куклы, походкой, от которой сходят с ума психиатры. Не здесь ли загадка нашего родного спорта, гипертрофированных мышц, преодоления самоторможения по разрешению сверху?

Позднее, в побежавших наперегонки денечках, в мутном бульоне подземных станций, я за сто шагов мог определить собрата по счастливому прошлому,двигающегося по платформе с изяществом выгашенного на поверхность краба. Думаете, я не пробовал ходить так, как та вечно-весенняя студентка на углу улицы Суфло и Бульмиша? Я тут же чувствовал себя подкуренной блядью, терял мозжечок, облакачивался на мирных старух, наступал на хвосты их собак или врезался в тележки с мороженым. О нет, видимо, мне это не суждено — шуршание парусов, свободный ток воздуха возле висков; не суждено забыть про углы локтей и колен, освободиться от зрячей спины и десяти пальцев, вцепившихся в шею. О вечный глаз с пластмассовой слезою, глядящий из прошлого!..

Я весь обмирал от зависти, сидя на скамейке в Люксембургском саду, глядя, как не идут, а струятся мимо белые и черные, волосатые и лысые, курчавые и бородатые, молодые и кряхтящие. Они текли, их несло ветром, а если они спотыкались, значит, в воздухе образовалось сгущение, небольшой тромб из скопившихся поцелуев.

Самый последний клошар, икающий так, что голову его подбрасывало, полз по отвесной, ошпаренной до волдырей августовским солнцем улице Монмартра с такой уродливой грацией, что мне хотелось пустить вокруг него лебединный выводок балеринок, а сверху в прыжке повесить улыбающегося взмокшего Барышникова...

* * *

Высокооктановый бензин, пряности из пиццерий, пузырики и сквознячки духов — вот кокаин переселенца. Волны запахов обвивают тебя со всех сторон, и прежде чем ухо начинает впитывать музыку чужой речи, прежде чем глаз свыкнется с новой скоростью новых красок, нос уже пьянствует отдельно ото всех, грозит аллергией, систематизирует и разлагает, и где-нибудь в подвальчике Шатле выдает: четвертый год после войны, угол Цветного бульвара и Самотеки, бабка, торгующая свежими теплыми ирисками, — все тот же запах жженого

сахара, свежей карамели. Ах, чертово, разбомбленное вдребезги детство, трупы ограбленных «Дугласов» в стрешневском лесу, осколки воспоминаний, прочно засевшие под кожей дней...

И в том-то и фокус, что начиная жить с нуля, начинаешь новое взрослое детство, где запахи, краски, жесты и гримасы пытаются лечь сверху на затвердевший и уже не белый пласт, рождая иногда чудовищные, иногда трогательные аппликации. Взрослый ребенок, наивный старик, ты живешь тем же, чем и в пять лет, — первоэмоциями.

* * *

Это город, где жить нельзя, если ты несчастлив.

Нет, если тебе плохо, а набережные все же золотят душу, а закат льется мирно и успокаивающе сквозь обглоданные временем и взглядами кости Нотр-Дам, — значит, все еще не так плохо, значит, ожог в душе не так страшен, и скоро безобразные, но спасительные струпья опадут, обнажив порозовевшую, но спасающую ткань существования.

Но если тошнит пеплом и пропала надежда, что случайный ветер, нежданное чудо или точно адресованная помощь освободят от этого серого, тлеющего, уже равнодушного к боли ожога, — тогда здесь жить невмочь. Тогда нужно бежать, завернувшись в плащ, спрятав голову подмышку, молотя промокшими сапогами по мостовым. В любом направлении — лишь бы прочь! Этот город — огромный усилитель, он только напрягает, доводит до предела чувства. И Париж разворачивает их в симфонию, выкручивает ручки громкости до крайнего хруста. Как вопит тогда его хваленая красота, как вонзаются в душу иглы соборов, как мерзок шелест падающих листьев платанов, как нескончаем, ни с чем на свете не сравним этот зависший, закисший пронзительный дождичек, как мутна рыжая вода Сены, как безразлична нарочито счастливая толпа, бесконечно текущая мимо твоего остывшего кофе...

Мне попадались в те дни юродивые бабки, завернутые в пластиковые мешки с изяществом, которому позавидовал бы Кристо, одноногие попрошайки, псориазные красотки, изголодавшиеся по мордобою убийцы. Меня преследовали маленькие желтые плакатики всяческих обществ, желающих принять участие в самоубийстве. Мой слух был изрезан и кровоточил от рева полицейских и санитарных машин, а все перекрестки Монпарнасов, Сен-Жерменов, Распаев и авеню Обсерватуар переходили, сбивая палкой невидимые поганки, бесчисленные слепые и горбуны.

* * *

Есть на свете необъяснимые вещи. На второй день своей новой жизни, в маленькой улочке возле Пернети, когда я шел неизвестно куда, парочка долговязых немцев, замученных бесконечной ночью любви, ангельскими голосами на ломаном английском втолковала мне, что уже несколько веков они ничего не жрали. Мы разделили мои семь франков пополам. В дальнейшем, хотя в жизни я не выглядел rispetтабельно, — все та же униформа века — потертые джинсы да борода, — ко мне липли все неустанные сборщики уличной подати столицы Франции: от беременных девушек с запиской на груди до величественных проходимцев в одеянии из картонных ящиков, где внутри удобно пристроены бутылъ розового, камамбер и полбагета. Сначала я отвечал, что не понимаю по-французски. Ничего! — они знали английский, а на всякий случай предлагали испанский, немецкий, итальянский и какой-то племени тьфу-тьфу. Когда же я

рискнул послать в известное темное место очередного пропойцу на родном русском языке, он ответил мне залпом русско-польских вокабул. Боже! Они были полиглотами!

Еще совсем на днях, возвращаясь из редакции, куда я сосватал эти листки и где мне был обещан чек, гремя все той же музыкой мелочи в кармане, я был остановлен на Шанз-Элизе возле забегаловки «Жорж Санд» солиднейшим дядей в возрасте покойника. Одет он был дорого, с легким налетом потасканности.

— Друг, — сказал он, пробуя сразу несколько языков, — ты случаем не еврей?

Я повис на ветках генеалогического древа, тщетно пытаюсь скрыться в листве.

Мягкой, но тяжелой рукой он сволок меня вниз, обнял за плечи, а другой вытащил из кармана коробочку лекарства. Судя по розовому с белым, это был транксен. Надо отдать должное его красноречию. Цицерон, и тот выдал бы ему пару монет. Естественно, что прежде всего он объяснил, загадочно обрубая хвосты новорожденных фраз, что он не из породы местных попрошаек, что он — в Беде. Грех, конечно, смеяться над человеком в беде. Но в некотором смысле весь наш шарик угодил в нее, всеми пятью материками. Он был из Ниццы, где теперь, на ночь глядя, его выискивали для расправы враги. То же самое, сообщил он, было и в Марселе. Даже в маленьком Касисе его могли подстерегать бесчестие и смерть. Я что-то прошевелил про мафию. Глаза его увлажнились.

— Даже в Москве, — прорычал он, — способны понять человека!

— Но, — отвечивал я, проклиная свой явственный проигрыш, — больше пяти франков я тебе не дам.

Он убрал руку с моего плеча, он печально усталился на сидящую в одном и том же кресле уже целый год Эмманюэль...

— Десять! — твердо сказал он. И добавил: — Меня зовут Илья. Как это будет по-русски?

Что ж... кружка бельгийского пива мне явно не светила в тот вечер. Я выдал ему пять франков и заструился прочь, но все с той же мягкой печальностью он остановил меня:

— Может, мы выпьем вместе?

— На что? — спросил я, потрясаясь его размаху. — На пять франков? У меня остался только change...

— Change?.. — вдруг воспрянул он. — Change! — И вытащил из кармана сложенную в восемь раз конголезскую банкноту времен фанерных самолетов.

Я сообщил ему, что банки закрыты и обменять его валюту негде²⁴. Он не огорчился и, еще раз попросив верить, что он «в беде», как-то весь сразу исчез.

* * *

Очухался я ночью, на узкой, медленно ползущей на север улице. словно я шел весь вечер с закрытыми глазами и вот теперь, миновав площадь с плачущим фонтаном, полузряче открыл глаза. Нокаут продолжался; наглое расплавленное стекло реклам затекало за шиворот; как автомат; я различал запахи: моча, бензин, подгорелое масло, духи. Кипела суббота. Попадались стайки мужчин, все больше арабы, но мои микрофоны фиксировали и немецкую речь, и одиночные французские вопросы. В провале ворот на боку лежал от инфаркта скончав-

24 Игра слов: *change* на обоих языках — английском и французском — означает и обмен (в том числе валютный), и разменную монету, мелочь. Однако на французском второе значение распространено более, нежели первое, тогда как на английском — наоборот.

шийся холодильник. Из окна индийского магазина равнодушно пялил зенки Шива. Неужели и вечность такая же безразличная? Тупое бесконечное падение... Одно я знал точно: там никогда нельзя закрыть глаза.

Женщина в черных чулках на подвязках, с вываленными наружу арбузами грудей что-то спросила у меня. Я вяло отвечивал, все же где-то в глубине удивляясь ее маскараду, что не могу по-ихнему.

— Же сюи русс²⁵, — прокомментировал я себя то ли с издевкой, то ли с неиздохшей гордостью, проталкиваясь дальше в ночь, но она двинулась рядом, мимо таких же, как сама, полуголых, с некрепким запахом пота, мимо тех, кто говорил тише падающего листа. Ее груди прыгали, ее волосы летели отдельно от нас.

— Эй, — говорила она возле церкви Святого Дениса, — пойдем так, у меня русских никогда не было...

* * *

В будние дни нет ничего лучше на свете пустого, огромного и волшебного парка Сен-Клу. Толстый ковер ржавых листьев съедает последние звуки; небо сочится такой густой синевой, что не приведи господь когда-нибудь провалиться в такие же глаза; взмокший фотограф и две модели в пелеринках, шляпках, перчатках, вуалетках, с зонтиками, сумочками, сигаретами в мундштуках, с чисто вымытым пуделем цвета сливочного мороженого, со скучающим ассистентом (фляжка скотча в руке) — все это танцует на маленькой, полной золота поляне, с косыми дорогостоящими лучами позднего солнца, бьющего сквозь редкую листву. Город виден внизу, серое стадо крыш, пылающее румянцем стекло. На маленькой пушке телескопа сидит ворона и давит косяка. И кроме полицейского в воротах, полоумной старухи на пеньке, фотографа с друзьями — в парке ни души. Идеальное место для любви или убийства.

* * *

Чуть позднее закат жжет крыши неопасным своим огнем. В трепете бабьего лета по Сене возле моста Мари идет длинная баржа. Набережные, как арбузными семечками, усеяны гуляющими. Маленькая толпа окружила старуху-акварелистку. Привычными (в который раз?) движениями она наносит на мокрую бумагу Нотр-Дам, облака, воду. На барже стоит накрытый стол, и человек десять, в костюмах, при пиджаках и шляпах, сооружают закуску, поднимают стаканы с вином. Они пьют, поглядывая на берега, с которых виноградом свисают зеваки, назад — на поджегший и воду закат, на перламутр несильных волн. Пахнет гнилью, поздним теплом, западным ветром.

Париж, октябрь 1979

Подготовка текста, публикация и комментарии Павла Матвеева